

Иван Тургенев

**Воспоминания о  
Белинском**



**Иван Сергеевич Тургенев**  
**Воспоминания о Белинском**  
Серия «Литературные и  
жизненные воспоминания»

*Текст предоставлен правообладателем.*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3006255](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3006255)

**Аннотация**

«Личное мое знакомство с В. Г. Белинским началось в Петербурге, летом 1843 года; но имя его стало мне известным гораздо раньше. Вскоре после появления его первых критических статей в «Молве» и «Телескопе» (1836–1839) в Петербурге начали ходить слухи о нем как о человеке весьма бойком, горячем, который ни перед чем не отступал и нападал на «все» — на все в литературном мире, конечно...»

# Содержание

Примечание  
Комментарии

63

# Иван Сергеевич Тургенев

## Воспоминания о Белинском

Личное мое знакомство с В. Г. Белинским началось в Петербурге, летом 1843 года; но имя его стало мне известным гораздо раньше<sup>[1]</sup>. Вскоре после появления его первых критических статей в «Молве» и «Телескопе» (1836–1839)<sup>[2]</sup> в Петербурге начали ходить слухи о нем как о человеке весьма бойком, горячем, который ни перед чем не отступал и напал на «все» – на все в литературном мире, конечно. Другого рода критика была тогда немислима – в печати. Многие, даже между молодежью, осуждали его и находили, что он слишком смел и далеко заносится; старинный антагонизм Петербурга и Москвы придавал еще более резкости тому недоверию, с которым читатели на берегах Невы относились к новому московскому светилу. Притом его плебейское происхождение (отец его был лекарь, а дед дьякон) возмущало аристократический дух, установившийся в нашей литературе с александровских времен, времен «Арзамаса»<sup>[3]</sup> и т. п. В тогдaшнее темное, подпольное время сплетня играла большую роль во всех суждениях – литературных и иных... Известно, что сплетня и до сих пор не совсем утратила свое значение, исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы. Целая легенда тотчас сложилась и о Белинском. Говорили, что он недоучившийся казенный студент, выгнан-

ный из университета тогдашним попечителем Голохвастовым за развратное поведение (Белинский – и развратное поведение!);<sup>[4]</sup> уверяли, что и наружность его самая ужасная; что это какой-то циник, бульдог, призренный Надеждиным с целью травить им своих врагов; упорно, и как бы в укоризну, называли его «Беллыным». Слышались, правда, голоса и в его пользу; помнится, издатель почти единственного тогдашнего толстого журнала отзывался о нем, как о птичке с ноготком, как о живчике, которого не худо бы завербовать, – что, как известно, и было впоследствии приведено в исполнение, к великому преуспеянию журнала и к великой выгоде самого... издателя<sup>[5]</sup>. Что касается до меня, то знакомство мое с Белинским как писателем произошло следующим образом.

Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 году маленькой книжечкой с неизбежной виньеткой на заглавном листе – как теперь ее вижу, – и привели в восхищение все общество, всех литераторов, критиков – всю молодежь. И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался «Утесом», «Горами» и даже «Матильдой» на жеребце, гордившейся «усестом красивым и плотным». Вот, в одно утро, зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранже появился № «Телескопа» с статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмеливался заносить руку на наш общий идол,

на Бенедиктова<sup>[6]</sup>. Я немедленно отправился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски – и, разумеется, также воспылал негодованием. Но – странное дело! – и во время чтения и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот внутренний голос; в кругу друзей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и об его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что *он был прав*... Прошло несколько времени – и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, – мнения, казавшиеся дерзкой новизною, – стали всеми принятым, общим местом – «a truism», как выражаются англичане? Под *этой* приговор подписалось потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей. Имя Белинского с тех пор уже не изгладилось из моей памяти, но личное наше знакомство началось позже.

\* \* \*

Когда появилась та небольшая поэма «Параша», о которой я говорил выше<sup>[7]</sup>, я в самый день отъезда из Петербурга в деревню ходил к Белинскому (я знал, где он жил, но не посещал его и всего два раза встретился с ним у знакомых) и, не

назвавшись, оставил его человеку один экземпляр. В деревне я пробыл около двух месяцев и, получив майскую книжку «Отечественных записок», прочел в ней длинную статью Белинского о моей поэме. Он так благосклонно отозвался обо мне, так горячо хвалил меня, что, помнится, я почувствовал больше смущения, чем радости. Я не «мог поверить», и когда в Москве покойный Киреевский (И. В.) подошел ко мне с поздравлениями, я поспешил отказаться от своего детища, утверждая, что сочинитель «Параши» не я. Возвратившись в Петербург, я, разумеется, отправился к Белинскому, и знакомство наше началось. Он вскоре уехал в Москву – жениться, а возвратившись оттуда, поселился на даче в Лесном<sup>[8]</sup>. Я также нанял дачу в первом Парголове и до самой осени почти каждый день посещал Белинского. Я полюбил его искренно и глубоко; он благоволил ко мне.

\* \* \*

Опишу его наружность. Известный литографический едва ли не единственный портрет его дает о нем понятие неверное<sup>[9]</sup>. Срисовывая его черты, художник почел за долг воспарить духом и украсить природу и потому придал всей голове какое-то повелительно-вдохновенное выражение, какой-то военный, чуть не генеральский поворот, неестественную позу, что вовсе не соответствовало действительности и нисколько не согласовалось с характером и обычаем Белин-

ского. Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалой грудью и понурой головою. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый *habitus*<sup>1</sup> этой злой болезни. Притом же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечно-го счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотой, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, «упорствуя, волнуясь и спеша»<sup>2[10]</sup>. Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда, в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах, он торопливой и неровной походкой пробирался вдоль стен и

---

<sup>1</sup> наружный вид (*лат.*).

<sup>2</sup> Стих Некрасова. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг, – тот не мог составить себе верного о нем понятия, – и я до некоторой степени понимаю восклицание одного провинциала, которому его указали: «Я только в лесу таких волков видывал, и то травленных!» Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он обыкновенно носил серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно. Его выговор, манеры, телодвижения живо напоминали его происхождение; вся его повадка была чисто русская, московская; недаром в жилах его текла беспримесная кровь – принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы.

\* \* \*

Белинский был – что у нас редко – действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его «наглости», возмущались его «грубостью», писали на него доносы, распространяли про него клеветы, – эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцар-

ства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино не казалось его губ. В этом последнем отношении он не походил на тогдашних москвичей. Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он признавал за истину, в силу своих принципов. Приведу один пример. Вскоре после моего знакомства с ним его снова начали тревожить те вопросы, которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, особенно в молодости: философские вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т. п. Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков (он даже по-французски читал с великим трудом) и не находя в русских книгах ничего, что могло бы удовлетворить его пытливость, Белинский поневоле должен был прибегать к разговорам с друзьями, к продолжительным толкам, суждениям и расспросам; и он отдавался им со всем лихорадочным жаром своей жаждавшей правды души. Таким именно путем он, еще в Москве, усвоил себе, между прочим, главные выводы и даже терминологию гегелевской философии, беспрекословно царившей тогда в умах молодежи. Дело не обходилось, конечно, без недоразумений, иногда даже комических: друзья-наставники Белинского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, часто са-

ми плохо и поверхностно ее понимали;<sup>3</sup> но уже Гете сказал, что —

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange  
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst...<sup>4</sup>

а Белинский был именно ein guter Mann, – был правдивый и честный человек. К тому же его в этих случаях выручал замечательный инстинкт, которым он был одарен; но об этом речь впереди. Итак, когда я познакомился с Белинским, его мучили сомнения<sup>[11]</sup>. Эту фразу я часто слышал и сам употреблял не однажды, но в действительности и вполне она применялась к одному Белинскому. Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и

---

<sup>3</sup> Много хлопот тогда наделало в Москве известное изречение Гегеля: «Что разумно – то действительно, что действительно – то разумно». С первой половиной изречения все соглашались, но как было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что тогда существовало в России, за разумное? Толковали, толковали и порешили: вторую половину изречения *не допустить*. Если б кто-нибудь шепнул тогда молодым философам, что Гегель *не все существующее признает за действительное*, – много бы умственной работы и томительных прений было сэкономлено; они увидели бы, что эта знаменитая формула, как и многие другие, есть простая тавтология и, в сущности, значит только то, что «*opium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva*» – то есть опиум заставляет спать по той причине, что в нем есть снотворная сила (Мольер)\*. (Прим. И. С. Тургенева.)\* Из комедии Мольера «Мнимый больной» (третья интермедия).

<sup>4</sup> Добрый человек и в неясном своем стремлении всегда имеет сознание прямого пути\*. (Прим. И. С. Тургенева.)\* Из «Фауста» Гете (Пролог на небесах) в переводе Тургенева.

згли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; он денно и ночью бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему, он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было нелегко. «Мы не решили еще вопроса о существовании бога, – сказал он мне, однажды с горьким упреком, – а вы хотите есть!..» Сознаюсь, что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова; и если, при воспоминании об *этой* правдивости, об *этой* небоязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве – улыбка умиления и удивления...

Лишь добившись удовлетворившего его в то время результата, Белинский успокоился и, отложив размышления о

тех капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Со мной он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался гегелевской философией и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы. Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы несколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Впрочем, мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления.

\* \* \*

Сведения Белинского были необширны; он знал мало, и в этом нет ничего удивительного. В отсутствии трудолюбия, в лени даже враги не обвиняли его; но бедность, окружавшая его сызмала, плохое воспитание, несчастные обстоятельства, ранние болезни, а потом необходимость спешной работы из-за куска хлеба – все это вместе взятое помешало Белинскому приобрести правильные познания, хотя, например, русскую литературу, ее историю он изучил основательно. Но скажу более: именно это недостаточное знание является в этом случае характеристическим признаком, почти необходимостью. Белинский был тем, что я позволю себе назвать *центральной натурой*; он всем существом своим стоял близко к серд-

цевине своего народа, воплощал его вполне и с хороших и с дурных его сторон. Ученый человек – не говорю «образованный» – это другой вопрос, но ученый человек, именно в силу своей учености, не мог бы быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и, вероятно, не было бы обоюдного понимания. Вожди своих современников в деле критики общественной, эстетической, в деле критического самосознания (мне кажется, что мое замечание имеет применение общее, но на этот раз я ограничусь одной *этой* стороной), вожди современников, говорю я, должны, конечно, стоять выше их, обладать более нормально устроенной головою, более ясным взглядом, большей твердостью характера; но между этими вождями и их последователями не должно быть бездны. Одно слово: «последователь» – уже предполагает возможность шествия по одному направлению, тесной связи. Вождь может возбуждать негодование, досаду в тех, которых он тревожит, поднимает с места, двигает вперед; проклинать они его могут, но понимать они должны его всегда. Он должен стоять выше их, да, но и близко к ним; он должен участвовать не в одних их качествах и свойствах, но и в недостатках их: он тем самым глубже и больше чувствует эти недостатки, Сенковский был не в пример учнее, не говорю уже Белинского, но и большей части своих русских современни-

ков; а какой след оставил он? Мне скажут, что его деятельность была бесплодна и вредна не потому, что он был ученый, а потому, что у него не было убеждений, что он был нам чужой, не понимал нас, не сочувствовал нам; против этого я спорить не стану, но мне кажется, что самый его скептицизм, его вычурность и гадливость, его презрительное глумление, педантство, холод, все его особенности отчасти происходили оттого, что у него, как у человека ученого, специалиста, и цели и симпатии были другие, чем у массы общества. Сенковский был не только учен, он был остроумен, игрив, блестящ; молодые чиновники и офицеры восхищались им, особенно в провинции; но не того было нужно массе читателей, а того, что было нужно: критического и общественного чутья, вкуса, понимания насущных потребностей эпохи и, главное, жара, любви к меньшей, невежественной братии – у него и следа не замечалось. Он забавлял своих читателей, втайне презирая их, как неучей; и они забавлялись им – и на грош ему не верили. Смею надеяться, что мне не станут приписывать желания защищать и как бы рекомендовать невежество: я указываю только на физиологический факт в развитии нашего сознания. Понятно, что какой-нибудь Лессинг, для того чтобы стать вождем *своего* поколения, полным представителем *своей* народности, должен был быть человеком почти всеобъемлющей учености; в нем отражалась, в нем находила свой голос, свою мысль Германия, он был *германской центральной натурой*. Но Белинский, который до

некоторой степени заслуживает название русского Лессинга, Белинский, значение которого, по смыслу и влиянию своему, действительно напоминает значение великого германского критика, мог сделаться тем, чем он был, и без большого запаса научных познаний. Он смешивал старшего Питта (лорда Чатама) с его сыном, В. Питтом, – что за беда! «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...»<sup>[12]</sup> Для того, что ему предстояло исполнить, он знал довольно. Откуда он бы взял тот жар и ту страсть, с которыми он постоянно и всюду ратовал за просвещение, если б он на самом деле не испытал всю горечь невежества? Немец старается исправить недостатки своего народа, убедившись размышлением в их вреде; русский еще долго будет сам болеть ими.

\* \* \*

Белинский бесспорно обладал главными качествами великого критика; и если в деле науки, знания ему приходилось заимствовать от товарищей, принимать их слова на веру – в деле критики ему не у кого было спрашивать; напротив, другие слушались его; почин оставался постоянно за ним. Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Белинский не обманывался внешностью, обстановкой, не подчинялся никаким влияниям и веяниям; он сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное и

с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор – высказывал его вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения. Кто бывал свидетелем критические ошибок, в которые «падали даже замечательные умы (стоит вспомнить хоть Пушкина, который в «Марфе Посаднице» г-на Погодина видел «что-то шекспировское»!)<sup>[13]</sup>, – тот не мог не почувствовать уважения перед метким суждением, верным вкусом и *инстинктом* Белинского, перед его умением «читать между строками». Не говорю уже о статьях, в которых он отводил подобающее им место прежним деятелям нашей словесности; не говорю также и о тех статьях, которыми определялось значение писателей еще живых, подводился итог их деятельности, итог принятый и скрепленный, как уже сказано выше, потомством;<sup>5</sup> но при появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести – никто, ни прежде Белинского, ни лучше его, не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров – не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других! Без невольного удивления перед критической диагностикой Белинского нельзя прочесть, между прочим, ту небольшую выноску, сделанную им в одном из своих годовых обзоров, в которой он, по одной песне о купце Калашникове, появившейся без подписи в «Литературной газете», предре-

---

<sup>5</sup> См. статьи его о Марлинском, Баратынском, Загоскине в т. д. (*Прим. И. С. Тургенева.*)

кал великую будущность автора<sup>[14]</sup>. Подобные черты встречаются беспрестанно у Белинского. Приведу один пример. В 1846 году в «Отечественных записках» появилась повесть г-на Григоровича под заглавием «Деревня», по времени *первая* попытка сближения нашей литературы с народной жизнью, первая из наших «деревенских историй» – Dorfgeschichten. Написана она была языком несколько изысканным – не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта было несомненно. Покойный И. И. Панаев, человек добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхушек, уцепился за некоторые смешные выражения «Деревни» и, обрадовавшись случаю поглумиться, стал поднимать на смех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, каково недоумение хохотавших приятелей, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности? Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки из «Деревни», но уже восхищаясь ими, – что он и сделал.

Не могу на этом месте не упомянуть кстати о мистификации, которой в то время неоднократно подвергался один издатель толстого журнала, столь же одаренный практически-ми талантами, сколь обиженный природою насчет эстетиче-

ских способностей<sup>[15]</sup>. Ему, например, кто-нибудь из кружка Белинского приносил новое стихотворение и принимался читать, не предварив своей жертвы ни одним словом, в чем состояла суть стихотворения и почему оно удостоивалось прочтения. Тон сперва пускался в ход иронический, издатель, заключавший из этого тона, что ему хотят представить образчик безвкусыя или нелепости, начинал посмеиваться, пожимать плечами; тогда чтец переводил понемногу тон из иронического в серьезный, важный, восторженный; издатель, полагая, что он ошибся, не так понял, начинал одобрительно мычать, качать головою, иногда даже произносил: «Недурно! хорошо!» Тогда чтец снова прибегал к ироническим нотам и снова увлекал за собою слушателя, возвращался к восторженному настроению – и тот опять похваливал... Если стихотворение попадалось длинное, подобные вариации, напоминающие игру в головки из каучука, то и дело меняющие свое выражение под давлением пальцев, можно было совершить несколько раз. Кончалось тем, что несчастный издатель приходил в совершенный тупик и уже не изображал на своем, впрочем весьма выразительном, лице ни сочувственного одобрения, ни сочувственного порицания. У Белинского нервы не были довольно крепки, сам он не предавался подобным упражнениям; да и правдивость его была слишком велика – он не мог изменить ей даже ради шутки, но смеялся он до слез, когда ему сообщали подробности мистификации.

Другое замечательное качество Белинского как критика было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказывается «злоба дня». Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; не в пору возвещенная истина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов;<sup>[16]</sup> он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура<sup>6</sup>, Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 году) подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой он действовал, ему не следовало выходить из круга чисто литературной критики. Во-первых, при тогдашних официальных, житейских, цензурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно; уже и так он едва мог устоять

---

<sup>6</sup> Пишущий эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: «Ну, брат; какой же ты Кавур!» Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется! (Прим. И. С. Тургенева.)

против бури угроз и доносов, которую возбудило его отрицание наших псевдоклассических авторитетов; а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед; что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные – и что именно в этом и состояло его собственное призвание. Его политические, социальные убеждения были очень сильны и определительно резки; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было думать применять их, проводить их в действительность; да если б оно и стало возможным – в нем самом не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента; он и это знал – и, с свойственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы<sup>7</sup>. Зато как *литературный критик* он был именно тем, что англичане называют «the right man on the right place», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать об его преемниках. Правда и то, что задача их была труднее и сложнее. Незадолго до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выйти из того тесного круга; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранял и указы-

---

<sup>7</sup> См. второе прибавление в конце отрывка. (Прим. И. С. Тургенева.)

вал на другое лицо, в котором видел своего преемника, – на В. Н. Майкова, брата поэта;<sup>[17]</sup> к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща и точно такой же смертью, какой погиб недавно другой много обещавший юноша, Д. И. Писарев<sup>[18]</sup>.

Имя Писарева напоминает мне следующее. Весной 1867 года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь – посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине<sup>[19]</sup>. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду. «Вы, – начал я, – втоптали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: «Несчастный друг» и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно – вы это сказали *нарочно*, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру, – но преувеличение истины, карикатуру в дельном смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы

понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку, я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то, помилуйте, в кого вы стреляете? Уж точно по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старички пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинении стихов; стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, *обязанный* прежде всех ощущать, чужать насущное, нужное, безотлагательное, *должны* обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выходка, архаизм! Белинский – тот никогда бы не впал в такой просак!» Не знаю, что подумал Писарев, но он ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною.

Само собою разумеется, что понимание Белинским своего времени, своего назначения не мешало его задушевным убеждениям сквозить в каждом слове его статей, тем более что его отрицательная деятельность на поприще критики как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он бы, наверное, выбрал в политически развитом обществе. Что он чувствовал и что он думал, про то ведал он один, ведали и некоторые из его друзей; но что он делал, что он печатал – неуклонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно на ней. Только в известном одном письме<sup>[20]</sup> эта страсть, которую он

...во тьме ночной  
Вскормил слезами и тоской<sup>[21]</sup>,

прорвалась наружу – как тот огонь, о котором говорит Лермонтов.

\* \* \*

Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из лекции о Пушкине, прочтенной мною в 1859 году перед немногочисленным обществом<sup>[22]</sup>. Стараясь изобразить характер эпохи 30-х, 40-х годов, я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о лермонтовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминание этого имени возбудило негодование большей части моих слушателей. Вот этот отрывок. (Мне придется начать несколько издалека; но это неизбежно.)

«А между тем как наш великий художник (Пушкин), отвернувшись от толпы и приблизившись, насколько мог, к народу, обдумывал свои заветные творения, пока по душе его проходили те образы, изучение которых невольно зарождает в нас мысль, что он один мог бы подарить нас и народной драмой, и народной эпопеей, – в нашем обществе, в нашей литературе совершались если не великие, то знаменательные события. Под влиянием особенных случайностей, особенных обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по

1840 год)<sup>[23]</sup> у нас понемногу сложилось убеждение, конечно справедливое, но в ту эпоху едва ли не рановременное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы – великое, вполне овладевшее собою, незыблемо твердое государство и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванная им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого – и стоит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина<sup>8</sup>. Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать *ложно-величавой школой*, продолжалось недолго, хотя отражение ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, чем собственно литературная, художественная сфера, не прекратилось и до сих пор. Оно продолжалось недолго – но что было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей сами добродушно при-

---

<sup>8</sup> Эти имена, которые я тогда не решился назвать, вероятно, приходят теперь на уста каждому читателю, – имена Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюллова, Каратыгина и др. (Прим. И. С. Тургенева.)

знавали себя за гениев. Со всем тем что-то неистинное, что-то мертвенное чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества – и ни одного живого, самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличиванию России – во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского: это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, кичилось, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, – а час падения приближался. Но не последние глубоко художественные произведения Пушкина были причиной этого падения. Если бы даже они явились при его жизни – мы сомневаемся, оценила ли бы их тогда оглушенная, сбитая с толку публика. Они не могли служить полемическим целям; они могли одержать, и они одержали, победу своей собственной красотой, сопоставлением этой красоты и силы с безобразием и слабостью того ложно-величавого призрака; но в первое время, именно для того, чтобы разоблачить этот призрак во всей его пустоте, нужны были другие орудия, другие, более пронзительные силы – силы байронического лиризма, который уже являлся у нас однажды, но поверхностно и несерьезно<sup>[24]</sup>, и силы критики, юмора. И они не замедлили явиться. В сфере искусства заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли – Белинский. ...

В прошлой беседе с вами мы говорили о том значении, которое будущий историк нашей литературы придаст появлению Пушкина; но, без сомнения, обратит на себя внимание наших Маколеев (если только нам суждено иметь Маколеев) и та минута, когда перед раздувшимся и раздутым, как бы официальным великаном предстали: с одной стороны, гусарский офицер, светский лев, из уст которого общество услышало впервые неведомый ему прежде, беспощадный укор<sup>9</sup>, да темный малороссийский учитель с своей грозной комедией, на челе которой стояло эпитафией: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»; а с другой стороны – такой же темный, недоучившийся студент, дерзнувший провозгласить, что у нас еще не было литературы, что Ломоносов не был поэтом, что не только Херасков и Петров, но и Державин и Дмитриев не могут нам служить образцами, что и новейшие великие люди ничего не сделали. Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу, деятелей рухнула не только та литературная школа, которую мы называли ложно-величавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины. Победа была решена скоро. В то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина,

---

<sup>9</sup> Прошу позволения привести слова одной тогдашней великосветской барыни, встретившей меня следующим восклицанием; «Avez-vous lu la «Douma»? Qui pouvait s'attendre a cela de la part de Lermontoff!.. Lui, qui venait de dire» <Читали ли вы «Думу»? Кто бы мог ожидать этого от Лермонтова!.. Он, который только что говорил: «Я, мать божия, нонче с молитвой! «C'est affreux!» <Это ужасно> (Прим. И. С. Тургенева.)

того Пушкина, имя которого так было дорого самим нововводителям, которое они окружали такою полною любовью. Идеал, которому они служили – сознательно или бессознательно (Гоголь, как известно, до конца от него отчурался и отнекивался), – идеал этот не мог ужиться с пушкинским идеалом, назло им самим. Сила вещей сильнее всякой отдельной, личной силы – так же, как общее в нас сильнее наших собственных наклонностей. Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложно-величавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вместо слова «наступило» мы бы могли, вспомнив Фонвизина, Новикова, употребить слово «возвращалось». Подобные «возвратные» обороты бегущего вперед исторического колеса известны всем наблюдателям жизни народов. Общество, пораженное внезапным сознанием собственных недостатков, предчувствуя другие, еще более горькие разочарования в будущем – которые и сбылись<sup>10</sup>, – с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что отвечало его новым потребностям. «Торквато Тассо» Кукольника, «Рука всевышнего» – исчезли, как мыльные пузыри; но и «Медным всадником» нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью».

Здесь следовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся следующими словами:

«Сила независимой, критикующей, протестующей лично-

---

<sup>10</sup> Трех лет еще не прошло с Парижского мира 1856 года, когда я читал эти лекции. (Прим. И. С. Тургенева.)

сти восстала против фальши, против пошлости – а на какой ступени общества тогда не царила пошлость? – против того ложно-общего, несправедливо-узаконенного, что не имело разумных прав на подчинение себе личности...» И я продолжал так:

«Мы просим теперь у вас позволения остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаем, не совсем благозвучно в ваших ушах. Мы говорим о Белинском. С этим именем сопряжено воспоминание о некоторых увлечениях, но, смеем думать, и о великих заслугах. Слово его живет до сих пор, и мы не можем допустить, чтобы Россия, именно теперь<sup>11</sup> с жадностью его читающая, была совершенно неправа в своей любви к нему. Мы упомянули о нем не потому, что были связаны с ним личными, дружественными отношениями; мы желаем обратить ваше внимание на самый принцип его деятельности. Имя этому принципу – идеализм: Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне<sup>[25]</sup>. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти, тот идеал, которому он

---

<sup>11</sup> Тогда только что вышли первые томы полного издания его сочинений. (Прим. И. С. Тургенева.)

служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и лермонтовский протест и гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушал он старые авторитеты, наши так называемые славы, на которые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения...»

\* \* \*

Быть может, некоторые читатели удивятся слову «идеалист», которым я почел за нужное охарактеризовать Белинского. На это я замечу, что, во-первых, в 59-м году не было возможности называть многие вещи настоящими их именами; а во-вторых, мне – признаюсь в том – доставило немалое удовольствие объявить Белинского «идеалистом» перед сборищем людей, которым имя его представлялось неразрывно связанным с понятием о цинике, грубом материалисте и т. п. К тому же и самое название шло к нему. Белинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойства весьма определенного и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией – Западом, наконец. Люди благонамеренные, но недоброжелательные употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна,

что и распространяться о ней не стоит: недоразумения тут немислимы. Белинский посвятил всего себя служению этому идеалу; всеми своими симпатиями, всей своей деятельностью принадлежал он к лагерю «западников», как их прозвали их противники. Он был западником не потому только, что придавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя; но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом – для развития собственных ее сил, собственного ее значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны<sup>12</sup>. Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями породы, истории, климата – впрочем, относиться и к ним свободно, критически, – вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть наконец самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот – разумеется, не на лад М. Н. Загоскина; благо родины, ее величие, ее

---

<sup>12</sup> Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта, «Петр Великий» и с особенным чувством произносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим —Ряд изумленных поколений-  
Рукой могучей за собой\*.(Прим. Л. С. Тургенева.)\* В этом стихотворении, подписанном Л. П. и напечатанном в № 7 «Отечественных записок» за 1842 г., Белинский увидел «что-то энергическое, восторженное и гражданское, есть много смелого...» (*Белинский*, XII, 111).

слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию; но он так же пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы – вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился. Уверять, что он из одного раболепного и неосмысленного смирения недоучки преклонялся пред Западом, – значило не знать его вовсе; к тому же не смирением грешат обыкновенно недоучки. Белинский еще потому благоговел перед памятью Петра Великого и, не обинуясь, признавал его нашим спасителем, что уже при Алексее Михайловиче он в нашем старом общественном и гражданском строе находил несомненные признаки разложения – и, следовательно, не мог верить в правильное и нормальное развитие нашего организма, подобное тому, каким оно является на Западе. Дело Петра Великого было, точно, насильем, было тем, что в новейшее время получило название *coup d'etat*<sup>13</sup>, но только по милости целого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы втолкнуты в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще донныне не прекратилась. В подтверждение этого мнения можно было бы привести самые недавние примеры. Какое место мы уже заняли в той семье – это покажет история; но несомненно то, что мы шли до сих пор, и *должны* были идти (с чем господа славянофилы, конечно, не согласятся), *должны* были идти другими путями, чем более или

---

<sup>13</sup> Государственного переворота (*франц.*).

менее органически развивавшиеся западные народы.

А что западнические убеждения Белинского ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая была во всем его существе, – тому доказательством служит каждая его статья<sup>14</sup>. Да, он чувствовал русскую суть как никто. Не признавая наших лжеклассических, лженародных авторитетов, ниспровергая их, он в то же время тоньше всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что было действительно самобытного, оригинального в произведениях нашей литературы. Ни у кого ухо не было более чутко; никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изящный оборот речи поражали его мгновенно, и слушать его простое, несколько однообразное, но горячее и правдивое чтение какого-нибудь пушкинского стихотворения или лермонтовского «Мцыри» было истинным наслаждением. Прозу, особенно любимого своего Гоголя, он читал хуже, да и голос его скоро ослабевал.

---

<sup>14</sup> См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Кольцове – и особенно его статьи о народных песнях и былинах\*. При слабости и скудости тогдашних филологических и археологических данных они поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества. (*Прим. И. С. Тургенева.*)\* Имеются в виду написанные в 1841 г. статьи о народной поэзии («Древние российские стихотворения»).

Еще одно замечательное качество Белинского как критика состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, «in earnest»;<sup>15</sup> он не шутил ни с предметом своих разысканий, ни с читателем, ни с самим собою; а позднейшее, столь распространенное глумление он бы отвергнул, как недостойное легкомыслие или трусость. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственных убеждений. Человек свистит, хохочет... Поди угадывай, разумеи его речь, куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом «зубы скалит»<sup>[26]</sup>. Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину, и что смеющимся устам легче высказывать ее... Да разве Белинский жил в такое время, когда можно было все высказывать начистоту? И, однако же, не прибегал он к глумлению, к «излюбленному» свистанию, к зубоскальству. Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики тем «свистанием», недалеко ушел от того смеха, которым встречались безнравственные выходки Сен-

---

<sup>15</sup> «Серьезен» (англ.).

ковского... И здесь и там выпячивалась та же склонность к грубой потехе, к гаерству, – склонность, к сожалению, свойственная русскому человеку, и которую не следовало бы полагать. Хохот невежества почти так же противен – так же и вреден – как его злоба. Впрочем, Белинский сам про себя говорил, что он шутить не мастер, ирония его была очень веска и неповоротлива; она тотчас становилась сарказмом, била не в бровь, а в глаз. И в разговоре, так же как и с пером в руке, он не блистал остроумием, не обладал тем, что французы называют *esprit*, не ослеплял игрою искусной диалектики; но в нем жила та неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и в конце концов увлекательно. При совершенном отсутствии того, что обыкновенно величают элоквенцией, при явной неспособности и неохоте к «уснащиванию», к фразе – Белинский был одним из красноречивейших русских людей, если принимать слово «красноречие» в смысле силы убеждения, той силы, которую, например, афиняне признавали в Перикле, говоря, что каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя.

\* \* \*

Белинский, как известно, не был поклонником принципа – искусство для искусства; да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, с какой коми-

ческой яростью он однажды при мне напал на – отсутствующего, разумеется, – Пушкина за его два стиха в «Поэт и чернь»:<sup>[27]</sup>

Печной горшок тебе дороже:  
Ты пищу в нем себе варишь!

«И конечно, – твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол, – конечно, дороже. – Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю, – и прежде чем любоваться красотой истукана – будь он распроецированный Аполлон – мое право, моя обязанность накормить своих – и себя, назло всяким негодующим баричам и виршеплетам!» Но Белинский был слишком умен, у него было слишком много здравого смысла, чтобы отрицать искусство, чтобы не понимать не только его важность и значение, но и самую его естественность, его физиологическую необходимость. Белинский признавал в искусстве одно из коренных проявлений человеческой личности – один из законов нашей природы, указанных нам ежедневным опытом. Он не допускал искусства для одного искусства, точно так же, как бы он не допустил жизни для одной жизни: недаром же он был идеалист. Все должно было служить одному принципу, искусство – так же, как наука, но своим, особым, специальным образом. Воистину детское, и к тому же не новое, подогретое объяснение искусства подражанием

природе не удостоилось бы от него ни возражения, ни внимания; а аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что этот пресловутый аргумент лишается всякой силы – как только мы возьмем человека сытого<sup>[28]</sup>. Искусство, повторяю, было для Белинского такой же узаконенной сферой человеческой деятельности, как и наука, как общество, как государство... Но и от искусства, как и от всего человеческого, он требовал правды, живой, жизненной правды»<sup>16</sup>. Сам он, впрочем, в области искусства чувствовал себя дома только в поэзии, в литературе<sup>[29]</sup>. Живопись он не понимал и музыке сочувствовал очень слабо. Он сам очень хорошо сознавал свой недостаток и уж и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статьи Гоголя об Иванове и Брюллове могут служить поучительным примером, до какой уродливой фальши, до какого вычурного и лживого пафоса может завратиться человек, когда заберется не в свою сферу<sup>[30]</sup>. Хор чертей в «Роберте-дьяволе» был единственной мелодией, затверженной Белинским: в минуты отличного расположения духа он подвывал басом этот дьявольский напев. Пение Рубини потрясало его; но не музыкальное совершенство ценил он в нем, а патетическую, стремительную энергию, драматизм выражения. Все драматическое, театральное глубоко проникало в душу Белинского, так и зажигало ее. Его статьи о Мочалове, о Щепкине, вообще о театре дышат страстью; надо было видеть, какое

---

<sup>16</sup> См. первое прибавление в конце отрывка. (Прим. И. С. Тургенева.)

впечатление производило на него одно воспоминание об игре Мочалова в «Гамлете», о том, как он, в известной сцене представления трагедии перед преступным королем, производил, задыхаясь от восторга и ненависти:

Оленя ранили стрелой...

\* \* \*

Была одна причина, которая заставляла иногда Белинского избегать разговоров о театре, о драматической литературе, особенно с мало знакомыми людьми: он боялся, как бы не напомнили ему про его комедию «Пятидесятилетний дядюшка», написанную им некогда в Москве и напечатанную в «Наблюдателе»<sup>[31]</sup>. Комедия эта точно весьма слабое произведение; она принадлежит к худшему из родов – и слезливо-нравственному, сентиментально-добродетельному; в ней выводится великодушный дядюшка, влюбленный в свою племянницу и приносящий свою любовь в жертву юному сопернику. Все это изложено пространно, натянутым, мертвенным слогом... Белинский не имел никакого «творческого» таланта. Эта комедия, да еще статья о Менцеле были ахиллесовой пятой Белинского, и упомянуть о них при нем – значило оскорбить, огорчить его. Особенно статью о Менцеле он себе простить не мог: комедию свою он призна-

вал эстетической, литературной ошибкой, а в той статье он видел ошибку гораздо худшего свойства. Статью о Менцеле он написал под мгновенным влиянием нетерпения, тоскливого желания перейти из области недостижимых идеалов к чему-нибудь положительному, реальному, как будто то, что существовало тогда, могло иметь реальное значение, могло удовлетворить добросовестного человека! Бедный Белинский, конечно, не имел понятия, что за птица был господин Менцель, и взялся за это лицо чисто с априорической, отвлеченной точки зрения...<sup>[32]</sup> В этом случае недостаточное знание фактов сыграло с ним злую шутку... Существовала еще статейка о Бородинской годовщине. Я было как-то заговорил с ним о ней... Он зажал себе уши обеими руками и, низко наклонясь вперед и качаясь из стороны в сторону, зашагал по комнате. Впрочем, он поболел квасным патриотизмом недолго<sup>[33]</sup>. Вообще лучшие статьи Белинского были написаны им в начале и перед концом его карьеры; в середине проскочила полоса, продолжавшаяся года два, в течение которой он, начинившись гегелевской философией и не переварив ее, всюду с лихорадочным рвением пичкал ее аксиомы, ее известные тезисы и термины, ее так называемые Schlagwörter. В глазах рябило от множества любимых тогдашних оборотов и выражений!<sup>17</sup> Надо ж было и Белин-

---

<sup>17</sup> Советую любопытному читателю, желающему наглядно убедиться, до чего могло дойти тогдашнее философствование, отыскать в Смеси одной из книжек «Отечественных записок» за 40 или 41-й год статейку, написанную, впрочем, не Белинским, а самим издателем, – в защиту выражения, употребленного Искан-

скому заплатить дань своему времени! Но эта волна скоро сбежала, оставив за собою только хорошие семена, и снова явился во всей своей мужественной и бесхитростной простоте русский язык Белинского, славный язык, ясный и здравый. Белинский, можно сказать, импровизировал свои статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, на отдельных полулистах, без помарок, крупным, круглым почерком; Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и обдумывать каждое выражение, и потому поневоле впадал в некоторую многоглаголивость; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, с легкой руки покойного Писарева утвердилась у нас в критическом отделе журналов, он далеко не доходил; статьи его все-таки оставались литературным произведением и не превращались в дряблый разговор, в пухлые вариации на избитые темы – вариации, от которых, несмотря на весь их задор, так и отдает ученической тетрадью.

---

дером, будто бы «Наполеон – кверху ногами поставленный Карл Великий», – выражения, поднятого на смех другим журналом. Комизм тут тем более забавен, что весь проникнут угрюмой важностью и даже не подозревает, до какой степени он прелестен!\* (Прим. И. С. Тургенева.)\* Выражение это употреблено Герценом в письме первом «Писем об изучении природы» («Эмпирия и идеализм»), напечатанном в № 4 «Отечественных записок» за 1845 г. (Герцен, III, 117). Оно было высмеяно в фельетоне «Северной пчелы» (№ 106 от 12 мая 1845 г.). Ответ «Отечественных записок» был напечатан в № 6.

Всем известно, какую обузу наваливал на Белинского расчетливый издатель журнала, в котором он участвовал. Какие сочинения не приходилось ему разбирать – и сонники, и поваренные и математические книги, в которых он ровно ничего не смыслил! Зато, когда после аккуратного выхода журнала в первое число месяца наступало несколько дней отдыха, как он наслаждался им, как предавался удовольствию бездействия, беседы с приятелями, а иногда и карточной игры в копеечный преферанс! Играл он плохо, но с тою же искренностью впечатлений, с тою же страстностью, которые ему были присущи, что бы он ни делал! Помнится, мы однажды играли с ним, не в деньги – а *так*; он выигрывал и торжествовал... но вдруг обремизился, остался без четырех. Потемнел мой Белинский пуще осенней ночи, опустил голову, как к смерти приговоренный. Выражение страдания, отчаяния так было искренне на его лице, что я наконец не выдержал и воскликнул, что это уже ни на что не похоже; что если так огорчаться, так лучше совсем бросить карты! «Нет, – отвечал он глухо и взглянул на меня исподлобья, – все кончено; я только до бубновой игры и жил!» – И в это мгновение, я ручаюсь, он действительно был убежден в том, что говорил.

Я часто ходил к нему после обеда отводить душу. Он занимал квартиру в нижнем этаже, на Фонтанке, недалеко от Аничкова моста, – невеселые, довольно сырые комнаты. Не могу не повторить: тяжелые тогда стояли времена; нынешним молодым людям не приходилось испытать ничего подобного. Пусть читатель сам посудит: утром тебе, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные и унижительные объяснения, оправдания, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор...<sup>18</sup> На улице тебе попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Греча; генерал, и даже не начальник, а так, просто генерал, оборвал или, что еще хуже, поощрил тебя... Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закры-

---

<sup>18</sup> Особенным юмором отличался при подобных свиданиях цензор Ф<рейганг>, тот самый, который говаривал: «Помилуйте – я всё буквы оставлю: только дух повытравлю». Он мне сказал однажды, с чувством глядя мне в глаза: «Вы хотите, чтоб я не вымарывал. Но посудите сами: я не вымараю – и могу лишиться трех тысяч рублей в год, а вымараю – кому от этого какая печаль? – Были словечки, нет словечек – ну, а дальше? Как же мне не марать?! Бог с вами!» (Прим. И. С. Тургенева.)

тии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приниженность во всех, хоть рукой махни! Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор, и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно была в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философско-литературный, критическо-эсуетический и, пожалуй, социальный, редко исторический. Иногда выходило очень интересно и даже сильно; иногда несколько поверхностно и легковесно. При всей серьезности и действительной возвышенности своей натуры, Белинский поступал иногда, как ребенок: услышит что-нибудь, что ему очень понравится, какое-нибудь место из Жорж Санда или П. Леру – тогда он входил в моду и о нем таинственно (!) переписывались под именем *Петра Рыжего* – услышит и тотчас попросит списать ему это место и нянчится с ним. Но все это шло к нему; живой русский человек сказывался и тут. Иногда безделица его задевала. Однажды он целых шесть недель носил у себя в кармане книжку гетевского «Западно-восточного Дивана» (Westosthcher

Divan) вот по какому поводу. Я ему как-то цитировал оттуда стих: «Lebt man denn, wenn andere leben?» («Можно ль жить, когда живут другие?») [34]. Он повторил этот стих в укор эгоизму Гете перед А. Н. С<труговщиковым>, некогда известным переводчиком гетевских стихотворений; тот усомнился в точности цитаты и чуть ли не подтрунил над легковерностью Белинского. Вот он и выпросил у меня экземпляр «Дивана» и постоянно имел его с собою, чтоб при встрече поразить С<труговщикова>«; но встречи этой, к великой досаде Белинского, не состоялось. В последние два года его жизни он, под влиянием все более и более развивавшейся болезни, стал очень нервозен – и хандра на него находила.

\* \* \*

Я виделся с Белинским в течение четырех зим – с 1843 по 1846 год, и особенно часто перед январем 1847 года, когда я отправился надолго за границу [35] и когда был основан «Современник», то есть куплен у покойного П. А. Плетнева. История *основания* этого журнала представляет много поучительного... Но изложить ее в точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старые дрязги. Довольно сказать, что Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала [36], который был создан собственно для него, его именем приобрел сотрудников и пополнялся в течение целого года капитальными статьями, приобретенными Белинским для

большого затеянного им альманаха. Белинский для «Современника» разорвал связь с «Отечественными записками», а оказалось, что в новом журнале он вместо хозяйского места, на которое имел полное право, занял то же место постороннего сотрудника, наемщика, какое было за ним и в старом. У меня в руках находятся любопытные письма Белинского, относящиеся к этому времени: небольшие отрывки из них читатели найдут ниже. Что касается собственно до меня, то должно сказать, что он после первого приветствия, сделанного моей литературной деятельностью<sup>[37]</sup>, весьма скоро – и совершенно справедливо – охладел к ней; не мог же он поощрять меня в сочинении тех стихотворений и поэм, которым я тогда предавался. Впрочем, я скоро догадался сам, что не предстояло никакой надобности продолжать подобные упражнения, – и возымел твердое намерение вовсе оставить литературу; только вследствие просьб И. И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в первом номере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника» были придуманы и прибавлены тем же И. И. Панаевым, с целью расположить читателя к снисхождению.) Успех этого очерка побудил меня напирать другие; и я возвратился к литературе. Но читатель увидит из тех же писем Белинского, что он хотя остался более доволен моими прозаическими работами, однако особенных надежд на меня не возлагал<sup>[38]</sup>. Белинский с добродушным снисхождением, с сочувственным жаром поощрял

начинавших писателей, в которых признавал талант, поддерживал их первые шаги; но он строго относился к их дальнейшим попыткам, безжалостно указывал на их недостатки, порицал и хвалил с одинаковым беспристрастием. Зато на первых порах он иногда доходил до нежности, увлекался очень мило, почти трогательно, почти забавно. Когда попались ему в руки «Бедные люди» г-на Достоевского, он пришел в совершенный восторг. «Да, – говорил он с гордостью, словно сам совершил величайший подвиг, – да, батюшка, я вам доложу! Невелика птичка, – и тут он указывал рукою чуть не на аршин от полу, – невелика птичка – а ноготок востер!» Каково же было мое удивление, когда, встретившись вскоре потом с г-м Достоевским, я увидел в нем человека роста более среднего – во всяком случае, выше самого Белинского! Но в припадке отеческой нежности к новонародившемуся таланту Белинский относился к нему, как к сыну, как к своему «дитятке». Точно так же он, летом 1843 года, когда я с ним познакомился, лелеял и всюду рекомендовал и выводил в люди Некрасова...

\* \* \*

Как во всех людях с пылкой душою, во всех энтузиастах, в Белинском была большая доля нетерпимости. Он не признавал, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнениях противника и отворачивался от них с тем же негодова-

нием, с которым покидал собственные мнения, когда находил их ошибочными. Но его можно было «прошибить», как я сказал ему однажды и чему он много смеялся; истина была для него слишком дорога, он не мог окончательно упорствовать. К одной лишь московской партии, к славянофилам, он всю жизнь относился враждебно: очень они уже шли вразрез всему тому, что он любил и во что он верил. Вообще Белинский умел ненавидеть – he was a good hater – и всей душой презирал достойное презрения. Лейбниц где-то говорит, что он почти ничего не презирает (je ne meprise presque rien). Это понятно и похвально в философе, постоянно живущем на высотах духовного созерцания; но наш брат, человек обыкновенный, по земле ходящий, не в силах возвыситься до этого бесстрастного холода, до этой величавой тишины; чувство презрения, которое внушают нам Фаддеи Булгарины, подтверждает и крепит наше нравственное сознание, нашу совесть. В собственных промахах Белинский признавался без всякой задней мысли: мелкого самолюбия в нем и следа не было. «Ну, врал же я чушь!» – бывало, говаривал он с улыбкой, – и какая это в нем была хорошая черта! Белинский был не слишком высокого мнения о самом себе и о своих способностях. Скромность его была непритворна и чистосердечна; слово «скромность», впрочем, тут не годится: ему вовсе не было приятно, что он, по его понятию, такой некрупный человек; но ведь «из своей кожи не выпрыгнешь!». Зато ничего не было для него важнее и выше дела,

за которое он стоял, мысли, которую он защищал и проводил: тут он на стену готов был лезть, – и беда тому, кто ему попадался под руку! Тут и смелость являлась в нем – отвага отчаянная, назло его физике и нервам; тут он всем готов был жертвовать! При такой сильной раздражительности – такая слабая личная обидчивость... Нет! подобного ему человека я не встречал ни прежде, ни после.

Летом 1847 года Белинский попал, в первый и последний раз, за границу. Я прожил с ним несколько недель в Зальцбрунне, небольшом силезском городке, славящемся своими водами, будто бы излечивающими чахотку... Ему они принесли мало пользы. В Зальцбрунне он, под влиянием негодования, возбужденного в нем известной «Перепиской с друзьями» Гоголя, написал ему письмо... Потом я встретился с ним в Париже. Там он поступил в лечебницу к некоему доктору, специалисту против чахотки, по имени Тира де Мальмору. Многие считали его за шарлатана, но он совсем было поставил Белинского на ноги. Кашель прекратился, с лица сошла зелень... Слишком скорое возвращение в Петербург все уничтожило<sup>19</sup>. Странное дело! Он изнывал за границей

---

<sup>19</sup> Вот еще пример того, как Белинский юмористически относился к самому себе. При отъезде из Парижа ему дали провожатого, который должен был сопровождать его до Берлина; но в самую последнюю минуту вышло какое-то недоразумение, и Белинский отправился один. «Представьте мое положение, – писал он одному приятелю в Париж, – на бельгийской границе меня о чем-то спрашивают, а я ничего не понимаю и только глазами хлопаю, К счастью, начальник таможни

от скуки, его так и тянуло назад в Россию. Уж очень он был русский человек, и вне России замирал, как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидел площадь Согласия и тотчас спросил меня: «Не правда ли? ведь это одна из красивейших площадей в мире?» И на мой утвердительный ответ воскликнул: «Ну, и отлично; так уж я и буду знать, – и в сторону, и баста!» – и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XVI; он посмотрел вокруг, сказал: «А!» – и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе». Исторические сведения Белинского были слишком слабы: он не мог особенно интересоваться местами, где происходили великие события европейской жизни; он не знал иностранных языков и потому не мог изучать тамошних людей; а праздное любопытство, глаzenie, badauderie, было не в его характере. Музыка и живопись его, как уже сказано, трогали мало; а то, чем так сильно действует Париж на многих наших соотечественников, возмущало его чистое, почти аскетическое нравственное чувство. Да и наконец ему всего оставалось жить несколько месяцев... Он уже устал и охладел...

---

догадался, должно быть, что я *глуп до святости*, и пропустил меня»\*. (Прим. И. С. Тургенева.)\* Об этом см. в «Замечательном десятилетии» Анненкова, с. 458 и прим. 120 к с. 467.

Не знаю, говорить ли об отношениях Белинского к женщинам? Сам он почти никогда не касался этого деликатного вопроса. Он вообще неохотно распространялся о самом себе, о своем прошедшем и т. п. Мне много раз случалось наводить его на этот разговор, но он всегда отклонял его; он словно стыдился, словно не понимал, что за охота толковать о личных дрязгах, когда существует столько предметов для беседы, более важных и полезных! Если же он касался своего прошедшего, то почти всегда с юмористической точки зрения: так, например, он рассказал мне, как, будучи *удален* из университета и не имея буквально чем жить, он взялся перевести роман Поль де Кока за двадцать пять рублей ассигнациями и каких он понаделал промахов!<sup>[39]</sup> Бедность он, очевидно, испытал страшную, но никогда впоследствии не услаждался ее расписыванием и размазыванием в кругу друзей, как то делают весьма часто люди, прошедшие эту тяжкую школу. В Белинском было слишком много целомудренного достоинства для подобных излиятий, а может быть, и слишком много гордости... Гордость и самолюбие – две вещи весьма различные.

По понятию Белинского, его наружность была такого рода, что никак не могла нравиться женщинам; он был в этом убежден до мозга костей, и, конечно, это убеждение еще уси-

ливало его робость и дикость в сношениях с ними. Я имею причину предполагать, что Белинский, с своим горячим и впечатлительным сердцем, с своей привязчивостью и страстностью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любимым женщиной. Брак свой он заключил не по страсти. В молодости он был влюблен в одну барышню, дочь тверского помещика Б<акуни>на; это было существо поэтическое, но она любила другого, и притом она скоро умерла<sup>[40]</sup>. Произошла также в жизни Белинского довольно странная и грустная история с девушкой из простого звания; помню его отрывчатый, сумрачный рассказ о ней... он произвел на меня глубокое впечатление... но и тут дело кончилось ничем<sup>[41]</sup>. Сердце его безмолвно и тихо истлело; он мог воскликнуть словами поэта:

О небо! Если бы хоть раз  
Сей пламень развился по воле...  
И не томясь, не мучась боле,  
Я просиял бы – и погас!<sup>[42]</sup>

Но мечты людские не сбывчивы, а сожаленья – бесплодны. Кому не вынулся хороший номер – щеголяй с пустым, да и не сказывай никому.

Не могу, однако, не упомянуть здесь, хотя мельком, о благородных, честных воззрениях Белинского на женщин вообще, и в особенности на русских женщин, на их положение, на их будущность, на их неотъемлемые права, на недоста-

точность их воспитания – словом, на то, что теперь называют женским вопросом. Уважение к женщинам, признание их свободы, их не только семейного, но и общественного значения, сказываются у него всюду, где только он касается того вопроса, – правда, без той вызывающей, крикливой бойкости, которая теперь в такой моде.

\* \* \*

Не раз приходится слышать слова: такой-то вовремя, кстати умер... Но ни к кому они так несомненно не применяются, как к Белинскому. Да! он умер кстати и вовремя!<sup>[43]</sup> Перед смертью (Белинский скончался в мае месяце 1848 года) он еще успел быть свидетелем торжества своих любимых, задушевных надежд и не видел их окончательного крушения... А какие беды ожидали его, если б он остался жив! Известно, что полиция ежедневно справлялась о состоянии его здоровья, о ходе его агонии...<sup>[44]</sup> От тяжких испытаний избавила его смерть. Притом же и физика его уже отказывалась действовать... К чему же было тянуть, медлить?

A struggle more – and I am free!<sup>20[45]</sup>

Все так, но живой живое думает, и нельзя подавить в себе чувства сожаления о том из нас, кого уносит смерть в

---

<sup>20</sup> Еще одно усилие – и я свободен! (Байрон.) (Прим. И. С. Тургенева.)

неведомый край, откуда «не возвратился еще ни один путешественник»...<sup>[46]</sup> Я иногда невольно задаю себе вопрос, невольно представляю себе, что бы сказал, что бы почувствовал Белинский при виде великих реформ, совершенных нынешним царствованием, – освобождения крестьян, водворения гласного суда и т. д.? Какой бы восторг возбудили в нем эти плодоносные начинания! Но он не дожил до них... Не дожил он также до того, что так же наполнило бы сладостью его сердце: не увидел он много хорошего, что совершилось после него в нашей литературе. Как бы порадовался он поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова! Кому бы, как не ему, следовало быть свидетелем у восхода тех семян, из которых многие были посеяны его рукою?.. Но видно – не следовало...

\* \* \*

Окончу мои воспоминания о Белинском сообщением письма одной близкой ему дамы, которую я просил передать мне подробности его кончины (я находился тогда за границей в Париже), а также и нескольких отрывков из его писем ко мне.

Вот письмо дамы (от 23 июня 1848 года):<sup>[47]</sup>

«Вы хотите знать что-нибудь о Белинском... Но я не умею порядочно рассказывать, да и нечего почти говорить о че-

ловеке, который все последнее время весь был истощен физическими страданиями. Не могу выразить вам, как тяжело, как больно было смотреть на медленное разрушение этого бедного страдальца. Воротился он из Парижа в таком хорошем состоянии духа и здоровья, что все мы, не исключая даже доктора, получили надежду на его выздоровление. Тут провел он у нас несколько утр и вечеров в непрерывном, живом, энергическом разговоре, и все с радостью узнавали в нем прежнего, довольно еще здорового Белинского; но странно, что с самого его возвращения из чужих краев нрав его чрезвычайно изменился: он стал мягче, кротче, и в нем стало гораздо более терпимости, нежели прежде; даже в семейной жизни его нельзя было узнать, так он спокойно и, по-видимому, без борьбы, мирился со всем тем, что прежде так сильно его волновало. Здоровое состояние его продолжалось недолго; он в Петербурге скоро простудился, и тут с каждым днем его положение становилось безнадежнее, при каждом свидании с ним мы находили его страшно изменившимся, и казалось, что более похудеть ему уже нельзя, но, увидав его опять, находили еще страшнее. В последний раз я была у него за неделю до его смерти; застали мы его полулежащим на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза огромные и блестящие; всякое дыхание его было стон, и встретил он нас словами: «Умираю, совсем умираю»; но эти слова были выговорены не с убеждением, не с уверенностью, а скорее с желанием, чтобы его опровергли. Нечего вам

говорить, какие тяжелые два часа провели мы тогда у него; говорить он, разумеется, не мог, но его даже уж и не занимали и не могли расшевелить рассказы о тех предметах<sup>21</sup>, которыми он прежде жил. Слег он в постель дня за три до смерти и, кажется, надеялся до тех пор, пока жива была в нем память; накануне он стал заговариваться, однако узнал Грановского, приехавшего в тот же день из Москвы<sup>[48]</sup>. Перед самой смертью он говорил два часа не переставая, как будто к русскому народу, и часто обращался к жене, просил ее все хорошенько запомнить и верно передать эти слова кому следует<sup>[49]</sup>, но из этой длинной речи почти ничего уже нельзя было разобрать; потом он вдруг замолк и через полчаса мучительной агонии умер. Бедная жена... не отходила от него ни на минуту и совершенно одна прислуживала ему, поворачивала и поднимала его с постели. Эта женщина... право, заслуживает всеобщее уважение; так усердно, с таким терпением, так безропотно ухаживала она за больным мужем всю зиму...»

Вот отрывки из писем Белинского ко мне:<sup>[50]</sup>

*СПб. 19 февраля/3 марта 1847.*

«...Когда Вы собирались в путь, я знал наперед, чего лишаюсь в Вас – но когда Вы уехали, я увидел, что потерял в Вас больше, нежели думал... После Вас я отдался скуке с каким-то апатическим

---

<sup>21</sup> Курсив в подлиннике. (Прим. И. С. Тургенева.)

самоотвержением и скучал, как никогда в жизни не скучал. Ложусь в 11, иногда даже в 10 часов, засыпаю до 12, встаю в 7, 8 или около 9 – и целый день – особенно целый вечер (с послеобеда) дремлю – вот жизнь моя!

...\*\* <Панаев> получил от К<етче>ра ругательное письмо, но не показал \*\*\* <Некрасову>. Последний ничего не знает, но догадывается, а делает все-таки свое. При объяснении со мною он был нехорош, кашлял, заикался, говорил, что на то, что я желаю, он, кажется, для моей же пользы, согласиться никак не может, по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин, – и сказал мои условия. Он повеселел и теперь при свидании протягивает мне обе руки – видно, что доволен мною вполне! По тону моего письма вы можете ясно видеть, что я не в бешенстве и не в преувеличении. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него – за него, а не за себя. Мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком – а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю \*\*\* <Некрасова>; и тем не менее он в моих глазах – человек, у которого будет капитал, который будет богат, – а я знаю, как это делается. Вот уж начал с меня. Но довольно об этом.

...Скажу как новость: я, может быть, буду в Силезии. Б<откин> достает мне 2500 руб. асс. Я было начисто отказался – ибо с чем же я бы оставил семейство – а просить, чтоб мне выдавали жалованье за время отсутствия – мне не хотелось. Но после объяснения с \*\*\* <Некрасовым> я подумал, что церемониться глупо... Он был очень рад, он готов был сделать все, только бы я... Я написал к Б<откину>, и теперь ответ его решит дело.

Ваш «Каратаев» хорош, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча»...

...Мне кажется, у Вас чисто творческого таланта или нет – или очень мало – и ваш талант однороден с Далем. Это Ваш настоящий род. Вот хоть бы «Ермолай и мельничиха» – не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в «Бреттёре» – я уверен – вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, Ваше призвание – наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию, но не опираться только на фантазию... Только, ради аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни се; не то чтоб нехорошо, да и не то чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение – лучшего не придумалось). А «Хорь» обещает в Вас замечательного писателя – в будущем.

...Гоголь сильно покаран общественным мнением и

разруган во всех журналах; даже друзья его, московские славянофилы, – и те отступились, если не от него, то от гнусной его книги...

Жена моя и все мои домашние, не исключая Вашего крестника<sup>22</sup> – кланяются Вам...»

*СПб 1(13) марта 1847.*

«...Скажу Вам, что я почти переменял мое мнение насчет источника известных поступков \*\*\* <Некрасова>. Мне теперь кажется, что он действовал добросовестно, основываясь на объективном праве – а до понятия о другом, высшем, он еще не дорос – а приобрести его не мог по причине того, что вырос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер. Вижу – из его примера – как этот идеализм и романтизм может быть полезен для иных натур, предоставленных самим себе. Гадки они – этот идеализм и романтизм, но что за дело человеку, что ему помогло дурное на вкус лекарство, даже и тогда, если, избавив его от смертельной болезни, привило к его организму другие, но уже не смертельные болезни; главное тут не то, что оно гадко, а то, что оно помогло...

Поездка моя в Силезию решена. Этим я обязан Боткину. Он нашел средство и протолкал меня. Нет, никогда я не хлопотал и никогда не буду хлопотать так о себе, как он хлопотал обо мне. Сколько писем написал он, по этому предмету, ко мне, к А<нненко>ву, к

---

<sup>22</sup> Я был крестным отцом его сына. (Прим. И. С. Тургенева.)

Г<ерце>ну, к брату своему, сколько разговоров, толков имел то с тем, то с другим! Недавно получил он ответ А<нненко>ва и прислал его мне. А<нненко>в дает мне 400 франков. Вы знаете, что это человек порядочно обеспеченный, но отнюдь не богач, – и по себе знаете, что за границей во всякое время 400 франков – по крайней мере – не лишние деньги. Но это еще ничего – этого я всегда ожидал от А<нненко>ва, а вот что тронуло, ущипнуло меня за самое сердце: для меня этот человек изменяет план своего путешествия, не едет в Грецию и Константинополь, а едет в Силезию! От этого, я вам скажу, можно даже сконфузиться – и если б я не знал, не чувствовал глубоко, как сильно и много люблю я А<нненко>ва, мне было бы досадно и неприятно такое путешествие. Отправиться я думаю на первом пароходе...»

*СПб. 12 (24) апреля 1847.*

«Пишу к Вам несколько строк, мой любезный Т. Вскоре по получении Вашего второго ко мне письма – в котором Вы изъясняете свое удовольствие о здоровье моего сына, – он умер<sup>[51]</sup>. Это меня уходило страшно. Я не живу – а умираю медленною смертью. Но к делу. Я взял билет на штеттинский пароход; он отходит 4 (16) мая...»

\* \* \*

9 (21) мая я свиделся с Белинским в Штеттине, куда я выехал к нему навстречу<sup>[52]</sup>. Мне писали из Петербурга, что смерть трехмесячного сына поразила его несказанно. Году не прошло, и он последовал за ним в могилу.

И вот уже двадцать лет с лишком прошло с тех пор – и я вызвал его дорогую тень... Не знаю, насколько мне удалось передать читателям главные черты его образа; но я уже доволен тем, что он побыл со мной, в моем воспоминании...

Человек он был!<sup>[53]</sup>

1868

## **Первое прибавление**

Я получил от А. Д. Галахова письмо по поводу статьи о Белинском, появившейся, как известно, в «Вестнике Европы». Помещаю здесь отрывок из этого письма. В нем почтенный автор, мнение которого в деле истории литературы и критики пользуется справедливым уважением и весом, до некоторой степени пополняет мои воззрения.

«...Что касается до каких-либо ошибок в литературных суждениях или в фактах – то я не встретил ни единой. Мо-

гу лишь указать на одну, по моему мнению, неточность. Вы говорите, что Белинский, ценя искусство как особую, совершенно естественную и законную сферу духовной деятельности человека, не был поклонником теории искусства для искусства, и в доказательство приводите его отзыв о стихотворении Пушкина «Чернь». Мне кажется, это не совсем так, по крайней мере, в хронологическом отношении. Отзыв принадлежит ко времени Вашего знакомства с Белинским. До этого времени (до 1843 года) он уже работал и в «Молве» с «Телескопом», и в «Наблюдателе», и в «Отечественных записках». Из некоторых критических статей его, здесь помещенных (особенно в «Наблюдателе»), видно, что он признавал справедливость знаменитой формулы: цель искусства – само искусство. За что же он и напал так сильно на Менцеля (в «Отечественных записках»), как не за то, что Менцель, в своей «Истории немецкой литературы», подчинял эту последнюю целям, лежащим вне литературной области, требовал от нее служения политическим, гражданским и иным видам и с этой точки зрения преследовал Гете, восхваляя Шиллера? Я помню, что однажды, когда я зашел к нему, он с искренним пафосом показывал мне портреты Гегеля и Гете, как высших представителей чистой мысли и чистого искусства».

Засим А. Д. Галахов, в подкрепление слов своих, приводит место из недавно вышедшего труда А. Станкевича «Т. Н. Грановский» (стр. 114–115).

Очевидно, что я должен был сделать оговорку. Когда я познакомился с Белинским, мнения его были точно такие, какими я их представил: он изменил их незадолго перед тем. Политическая струя в нем снова забила сильнее.

## Второе прибавление

А. Н. Пыпин, в известной своей биографии Белинского, оспаривает мое воззрение на то, что я назвал неполитическим в темпераменте Белинского, и видит в его «сдержанности» одну неизбежную уступку особым условиям того времени. Я готов согласиться с почтенным ученым: весьма вероятно, что оценка г-ном Пыпиным *этой* стороны характера нашего великого критика вернее моей – о чем долгом считаю объясниться перед читателями. Тот «огонь», о котором я упомянул, никогда не угасал в нем, хотя не всегда мог вырваться наружу.

*Париж. Сентябрь 1879.*

## Примечание

22–23 февраля 1843 года Белинский писал Н. А. Бакунину и его сестрам: «Недавно познакомился я с Тургеневым. Он был так добр, что сам изъявил желание на это знакомство. <...> Кажется, Тургенев хороший человек» (*Белинский*, XII, 139).

Еще в 1835 году семнадцатилетний Тургенев читал статьи Белинского. За границей, куда Тургенев уехал в 1838 году, он сближается с друзьями Белинского – Н. В. Станкевичем, М. А. Бакуниным, А. П. Ефремовым, которые, конечно, рассказывали ему о критике. Об этом, в частности, свидетельствует письмо П. Ф. Заикина к Белинскому от 13 июня 1840 года из Берлина: «В Берлине я нашел много русских и одного, *Тургенева*, прекрасного молодого человека, который жил в Неаполе и видел каждый день Станкевича <...>. Ефремов тоже живет в Неаполе. И Станкевич и Ефремов помнят тебя и по-прежнему расположены, по крайней мере мне так говорил Тургенев, который тоже желает познакомиться с тобою» (*БиК*, 55).

После первой встречи с Тургеневым Белинский «легко сближается» с ним. «Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек, – писал он 3 апреля 1843 года В. П. Боткину. – Беседа и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всем соглашают-

ся с тобою, или если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом, – и отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры» (*Белинский*, XII, 154).

Белинского, уже вступившего в решительную борьбу со славянофилами, привлекал трезвый взгляд Тургенева на «Русь», отрицательное отношение к аксаковскому «идеализму», о котором критик незадолго перед тем с такой резкостью писал в статье о «Сочинениях Державина» («Отечественные записки», 1843, № 2–3; ср. *Белинский*, VI, 588).

Начиная с похвального отзыва о «Параше» в мае 1843 года и до статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский постоянно следил за литературными выступлениями Тургенева и особенно приветствовал «Записки охотника», считая что в этом, жанре Тургенев нашел себя как художник. Под влиянием Белинского, в Зальцбрунне, где вскоре было создано «Письмо к Гоголю», Тургенев пишет рассказ «Бурмистр» – один из сильнейших антикрепостнических рассказов «Записок охотника».

Вероятно, Тургенев был в числе тех немногих лиц, которые уже в 1847 году знали письмо Белинского к Гоголю. Он полностью разделял выраженную в этом письме ненависть к крепостничеству. В начале 1850 года Тургенев хотел напечатать в «Современнике» комедию «Студент», в которой упоминал о своем друге, великом революционере-демократе Белинском. Но комедия была запрещена цензурой и впослед-

ствии переработана, получив название «Месяц в деревне». Лишь в рукописи первой редакции сохранились восторженные слова о Белинском героя комедии, студента-разночинца, готового «отдать за него душу».

В 1856 году Тургенев горячо приветствовал «Очерки го-голевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского, в которых впервые за много лет в полный голос было сказано о Белинском (письмо к Л. Н. Толстому от 16/28 ноября 1856 года. – *Тургенев. Письма*, т. III, с. 43), а в 1857 году живо откликнулся на предложение Некрасова издать в пользу дочери Белинского альманах, для которого собирался написать воспоминания о Белинском (*Тургенев. Письма*. III, с. 155).

Однако издание альманаха не состоялось, и Тургенев смог приступить к осуществлению своего замысла лишь в 1859 году, когда издатель организованной в начале года газеты «Московский вестник» Н. А. Основский просил его о статье (см. Первое собрание писем И. С. Тургенева. СПб., 1884, с. 68). Эта статья, в форме письма Тургенева к Н. А. Основскому под названием «Встреча моя с Белинским», появилась в № 3 (от 23 января) «Московского вестника» за 1860 год. Это было лишь первое письмо из, очевидно, целой серии задуманных. Несмотря на неоднократные просьбы Н. А. Основского<sup>23</sup>, Тургенев не продолжил работы над циклом писем о

---

<sup>23</sup> Так 22 августа 1860 г. он писал Тургеневу: «Жду с нетерпением (и все ждут) вторую статью о Белинском» (*ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 149).

Белинском.

В 1868 году, готовя новое издание своих сочинений, Тургенев решил написать для первого его тома «Литературные воспоминания». «Я сижу теперь над Литературными своими воспоминаниями, – писал он Я. П. Поповскому 16/28 декабря 1868 года, – и мысленно переживаю давно прошедшее...» (*Тургенев. Письма*, т. VII, с. 260). Еще до публикации в «Сочинениях» 1869 года Тургенев напечатал вторую часть «Литературных воспоминаний» – «Воспоминания о Белинском» – в журнале «Вестник Европы», 1869, № 4. Посылая рукопись «Воспоминаний о Белинском» Анненкову, он писал: «Вот вам наконец, любезный друг Павел Васильевич, статья о Белинском... Не знаю, как она вышла, но я писал старательно, два раза все переписал и умиление испытывал немалое... Пришли и стали воспоминания» (*Там же*, с. 299).

Очень личный, субъективный тон воспоминаний Тургенева вызвал неодобрение у многих современников. Герцен писал 21 мая 1869 г. сыну, А. А. Герцену, что статья Тургенева о Белинском «из рук вон слаба – дряблость его так и выразилась, когда он взялся описывать сильную и энергическую натуру» (*Герцен*, т. XXX, кн. I, с. 120). Тургенев, вольно или невольно, сделал Белинского орудием литературной борьбы, «участником» злободневной полемики, пытаясь с помощью его авторитета опровергнуть некоторые политические и литературные тезисы революционной демократии шестидесятых годов. См. также далее прим. 18 к с. 493.

С недоумением была встречена и публикация в воспоминаниях фрагментов из писем Белинского. «Неизвестно, зачем он и письма припечатал, разве только чтоб досадить Некрасову. Все это какие-то необъяснимые отрывки...» (письмо Б. Н. Чичерина А. В. Станкевичу от 27 апреля 1869 г. – Отдел письм. источников Гос. ист. музея. Ф. 351, ед. хр. 70, л. 1).

В «Воспоминаниях о Белинском» действительно оказалась возникшая с годами неприязнь Тургенева к Некрасову, которая заставила дать несправедливую, опирающуюся на тенденциозно подобранные отрывки из писем Белинского, трактовку роли Некрасова в период организации «Современника». Некрасов, не выступивший в печати, хотел сразу же по прочтении воспоминаний Тургенева дать объяснение в форме письма к М. Е. Салтыкову (сохранилось четыре черновых редакции письма; см. *Некрасов*, XI, 130–137).

Несомненно, однако, что образ Белинского нарисован Тургеневым с большой любовью и «умилением». Справедлив и глубок выдвинутый писателем тезис о Белинском как «центральной натуре» (подробный комментарий см.: *Тургенев*, *Соч.*, т. XIV, с. 435–449, 510–513).

## **Воспоминания о Белинском**

Впервые напечатаны в журнале «Вестник Европы», 1869, № 4, затем, с рядом исправлений, перепечатывались в изда-

ниях Сочинений И. С. Тургенева 1869 года, 1874 и 1880 годов (в изд. 1869 г. появилось «Первое прибавление»; в изд. 1880 г. – «Второе прибавление»; там же были сняты резкие выпады против Достоевского и Некрасова). В настоящем издании печатаются по тексту: *Тургенев. Соч.*, т. XIV, с. 22–63.

# Комментарии

1.

О знакомстве Тургенева с Белинским см. с. 672.

2.

В «Молве» и «Телескопе» Белинский печатался в 1834–1836 гг.

3.

В литературном обществе «Арзамас», существовавшем в 1815–1818 гг., объединились писатели-дворяне, последователи Карамзина (Жуковский, Вяземский, молодой Пушкин и др.), представители передового в то время литературного направления.

4.

Об исключении Белинского из университета см. прим. 6 к с. 103.

5.

Имеется в виду издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский.

6.

«Стихотворения Владимира Бенедиктова» вышли в свет в 1835 г. В № 11 «Телескопа» за тот же год была

напечатана статья Белинского с трезвой оценкой поэзии Бенедиктова и причин ее успеха. О своей реакции на эту статью Тургенев также вспоминал в 1856 г. (письмо к Л. Н. Толстому от 16/28 декабря): «...знаете ли Вы, что я целовал имя Марлинского на обертке журнала – плакал, обнявшись с Грановским, над книжкой стихов Бенедиктова и пришел в ужасное негодование, услышав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку? Вы, стало быть, видите, что сказанное им тогда казалось новизною неслыханною» (Тургенев. Письма, т. III, с. 61). О совместном с Грановским чтении стихотворений Бенедиктова – «имя которого теперь если не безызвестное, то уже отзвучавшее – прогремело тогда по всей России» – Тургенев рассказал в статье 1855 г. «Два слова о Грановском» (Тургенев. Соч., VI, 372).

## 7.

Имеется в виду заметка «Вместо вступления» к «Литературным и житейским воспоминаниям», которая начинается упоминанием о «Параше»: «...этой поэмой я вступил на литературное поприще».

## 8.

Тургенев смещает события: летом 1843 г. Белинский ездил в Москву не жениться, а делать предложение М. В. Орловой; свадьба их состоялась в ноябре в Петербурге. На даче в

Лесном Белинский жил уже в 1844 г.

## 9.

Тургенев говорит об известном портрете, выполненном художником К. Горбуновым в 1843 г. (см. фронтиспис). Портрет не нравился и Кавелину, который считал, что он лишь напоминает Белинского («Русская мысль», 1882, № 9). Однако среди прижизненных портретов Белинского этот – наиболее достоверный (см. ЛН, 57, 364–366).

## 10.

Стр. 486. Из стихотворения Некрасова «Памяти друга» (то есть Белинского) (1853).

## 11.

Тургенев не ставит перед собой цели раскрыть содержание своих философских бесед с Белинским. Он останавливает внимание на самом факте «мучительных сомнений» Белинского и воссоздает их очень живо. Однако некоторые детали позволяют сделать предположение о характере тех вопросов, над разрешением которых билась в это время мысль Белинского. Критик «сомневался» в своем философском мировоззрении вообще – он преодолевал прежние идеалистические представления. Очевидно, с этим было связано и обсуждение «вопроса о существовании бога», тем более что сравнительно недавно Белинский

познакомился с сочинениями Фейербаха (см. прим. 83 к с. 412), а также, вероятно, левогегельянцев Д. Штрауса и Б. Бауэра. Тургенев, безусловно, знакомил Белинского с передовыми течениями немецкой философской мысли.

## 12.

Из «Евгения Онегина», гл. первая, строфа V.

## 13.

Тургенев имеет в виду оценку Пушкиным трагедии «Марфа Посадница» в письме к Погодину от последних чисел ноября 1830 г.: «Я вам говорю, что это все – достоинства шекспировского» (письмо было опубликовано Анненковым в 1855 г. в т. I сочинений Пушкина; ср. Пушкин, XIV, 129).

## 14.

Выноску, о которой говорит Тургенев, Белинский сделал не в одном из годичных обзоров, а в рецензии на поэму Бернета «Елена» («Московский наблюдатель», 1838, ч. XVI, апрель, кн. 2; ценз, разр. 22 июня). Ср. прим. 10 к с. 138.

## 15.

Упоминание Тургеневым «одного издателя толстого журнала», то есть Краевского, как в этом месте воспоминаний, так и в других, в особенности в связи с обвинением его в «эксплуататорских»

наклонностях, вызвало протест Краевского. Он пытался скомпрометировать утверждения Тургенева указанием на долг, который последний ему не возвратил. Факт мистификации опровергнут не был («Голос», 1869, № 100).

## 16.

Тургенев говорит о памфлете «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» («Современник», 1861, № 6 и 7), в котором Добролюбов характеризовал Кавура как типичного политического деятеля – буржуазного либерала, «трусливого» и «осторожного». Статья вызвала недовольство русских либералов, в связи с чем Н. Г. Чернышевский писал Добролюбову: «Ярость на нас за Кавура повсюду неописанная» (Чернышевский, XIV, 436). Противопоставление Добролюбова Белинскому, которое делает здесь Тургенев, неправомерно. Имея в виду этот прием Тургенева в полемике со своими противниками, А. Н. Пышин писал в заключительной главе своей монографии «В. Г. Белинский»: «Враждебный взгляд людей прежнего круга Белинского <то есть в данном случае – взгляд Тургенева> на новые литературные стремления получил, так сказать, обратное действие: свой собственный новый взгляд они приписали и Белинскому и выставили Белинского против тех идей, с которыми спорили сами. Другими словами: ставя себя в солидарность с Белинским, они отвергали историческую связь его с их противниками,

видели в идеях этих противников не преимуществом идеям Белинского, а скорее прямое их нарушение и отрицание. Мы думаем об этом совершенно наоборот» (Пыпин, 591–592). Отвечая на дальнейшие утверждения Тургенева о характере деятельности Белинского, Пыпин также подчеркивал, что литературной почвы Белинский держался исключительно по внешней необходимости. Страсть «составляла весь нравственный и исторический характер Белинского» (там же, 595). Тургенев вынужден был согласиться с последним утверждением Пыпина (см. с. 518 наст. книги).

## 17.

Свидетельство Тургенева о том, что Белинский видел в В. Майкове своего преемника, не подтверждается. В качестве преемника Белинскому рассматривал Майкова, по свидетельству Анненкова, сам Тургенев. «Так мало желали они <либеральные друзья Белинского> погибели «Отечественных записок», что на другой, так сказать, день выхода из редакции Белинского они уже думали об отыскании журналу, взамен потерянного критика, нового, способного держать знамя независимого мышления. Человек, введший в редакцию «Отечественных записок» покойного Майкова, был не кто другой, как И. С. Тургенев – горячий друг Белинского и самого Некрасова» (письмо Анненкова к А. Н. Пыпину от 12 июля н. ст. 1874 г. – ЛН, 57, 550). См. прим. 99 к воспоминаниям Анненкова.

**18.**

В. Майков скоропостижно скончался от разрыва сердца во время купания в 1847 г., Д. Писарев утонул в 1868 г.

**19.**

То есть «Пушкин и Белинский» (I. «Евгений Онегин». II. Лирика Пушкина) (1865). Далее речь идет о стихотворении Пушкина «19 октября» (1825), которое Писарев разбирал в статье «Лирика Пушкина», упрекая поэта в «напыщенности и неискренности чувства» (Д. Писарев. Сочинения, т. 3. М., 1956, с. 386).

**20.**

То есть в письме к Гоголю.

**21.**

Из «Мцыри» Лермонтова.

**22.**

Две лекции о Пушкине, которые писатель назвал «импровизацией, несколько небрежной и недостойной великого имени Пушкина» («Литературный архив», вып. 4, 1953, с. 293), были им прочитаны в апреле 1860 г. И. И. Панаев в фельетоне «Петербургская жизнь» рассказал о реакции аристократической публики на упоминание в

одной лекции Тургенева имени Белинского: «Второе чтение о Пушкине, говорят, было особенно замечательно. Здесь впервые перед этим избранным обществом произнесено было имя Белинского. На многих оно произвело не совсем благоприятное впечатление. Я слышал, будто один из литературных авторитетов старого времени заметил Тургеневу после чтения, что присоединение имени Белинского к именам Пушкина, Лермонтова и Гоголя – очень дико, да и что бы ни говорили, а, по его мнению, Белинский все-таки был не более как невежественный крикун» («Современник», 1860, № 5).

### **23.**

Имеются в виду революционные события, потрясавшие Европу, и в первую очередь Францию, начиная с 1830 г., неустойчивость европейской политической жизни в эти годы.

### **24.**

Речь идет о поэзии И. И. Козлова, Подолинского и других.

### **25.**

То есть кружка Н. В. Станкевича.

### **26.**

Уже современники (Антонович, Пыпин) отмечали, что здесь

Тургенев говорит в первую очередь о Добролюбове как авторе сатирических стихотворений «Свистка».

**27.**

Первоначальное название этого стихотворения – «Чернь», в 1836 г. Пушкин переименовал его: «Поэт и толпа».

**28.**

Ближайшим образом Тургенев полемизирует здесь с эстетической теорией Чернышевского. Однако одна из идей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» как раз и состояла в том, что искусство ниже действительности только в том случае, когда оно подражает природе, копирует, как бы повторяет действительность.

**29.**

Белинский редко высказывался о произведениях живописи или музыки, считая свои оценки в этих сферах искусства дилетантскими. Однако сохранились свидетельства о глубоком его интересе к живописи (см., например, воспоминания Анненкова и Тютчева; с. 459 и 470 наст. книги), о том наслаждении, которое он испытывал, слушая музыку, действительно привлекавшую его драматизмом и патетикой (см., например, Белинский, XII, 158, а также воспоминания Кавелина, с. 177 наст. книги).

**30.**

Тургенев говорит о статье 1834 г. из «Арабесок» – «Последний день Помпеи». Картина Брюллова», и XXIII письме из «Выбранных мест из переписки с друзьями» – «Исторический живописец Иванов» (1846).

**31.**

См. прим. 16 к с. 43.

**32.**

Белинский, пристально следивший, особенно в это время, за эстетической мыслью и литературной жизнью Германии, имел достаточное представление о литературной и общественной роли Менцеля. Так, рецензируя т. 10 «Современника» за 1838 г., он с особым вниманием останавливается на статье Губера «Взгляд на нынешнюю литературу Германии». Белинский цитирует характеристику «крикуна Менцеля», соглашаясь с нею. В статье «Менцель, критик Гете» Белинский опирается в своей критике Менцеля на его книгу «Немецкая словесность» (русский перевод – 1837–1838). О Менцеле, который «создан природою не столько для литературного, сколько политического поприща» и о его похвалах Булгарину говорилось в брошюре Н. Мельгунова «История одной книги» (М., 1839), известной Белинскому. В «Литературных

и журнальных заметках» 1843 г. Белинский назвал Менцеля «достойным другом» Булгарина (Белинский, VIII, 24). Как предполагает В. Березина, Белинский знал выступления Гейне и Берне против Менцеля (Белинский, III, 639 – комментарий). Конечно, Белинский в статье «Менцель, критик Гете» подчинил имевшиеся в его распоряжении материалы «примирительной» идее, но и в этом случае в характеристике Менцеля он был недалек от истины.

### 33.

Тургенев не прав, сводя весь смысл статей Белинского «Бородинская годовщина», «Очерки Бородинского сражения» и «Менцель, критик Гете» к «квасному патриотизму». Беспощадно осудив эти свои статьи в письме к Боткину от 11 декабря 1840 г., Белинский, однако, правильно заметил, что идея, которую он «силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении <то есть идея объективной необходимости, «исторической законности» тех или иных социальных и политических форм> верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото...» (Белинский, XI, 576).

### 34.

Из стихотворения Гете «Keinen Reimer wird man finden» («Рифмоплета нет такого»), цикл «Westostlicher Diwan» («Западно-восточный диван»). У Гете – в ироническом смысле.

### 35.

12 января 1847 г. Тургенев выехал за границу, летом виделся с Белинским в Берлине, Зальцбрунне и Париже; вернулся в Россию лишь в 1850 г.

### 36.

О взаимоотношениях Белинского с новой редакцией «Современника» см. прим. 56 к с. 514.

### 37.

Имеется в виду статья Белинского о «рассказе в стихах» «Параша» («Отечественные записки», 1843, № 5). В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник», 1848, № 1, 3) Белинский дал анализ литературной деятельности Тургенева до «Записок охотника», причем уже более сдержанно отозвался о «Параше». По мнению Белинского, талант Тургенева «обозначился вполне» именно в «Хоре и Калиныче» (Белинский, X, 344–346).

### 38.

Отзыв Белинского о прозаических произведениях Тургенева

содержится в цитируемом ниже письме от 19 февраля/3 марта 1847 г. (с. 515).

### 39.

После исключения в конце сентября 1832 г. из университета Белинский был вынужден взяться за перевод романа Поль де Кока «Магдалина». За свой перевод Белинский получил «едва-едва» сто рублей ассигнациями (Белинский, XI, 93). См. также прим. 24 к с. 115.

### 40.

Речь идет о чувстве к А. А. Бакуниной. «Скоро умерла» (в 1838 г.) ее сестра – Л. А. Бакунина, невеста Н. Станкевича.

### 41.

О чувстве к «гризетке» и тяжелых переживаниях, связанных с этой историей, развязка которой заставила его «горько рыдать, как ребенка», Белинский вспоминал неоднократно (см., например, Белинский, XI, 359, 410). Полюбив простую девушку, Белинский «взялся было за ее умственное развитие, – с помощью чтения избранных поэтических произведений, но она скоро разбила созданный им идеал» (воспоминание свидетельницы «истории с гризеткой» родственницы Белинского Н. Н. Щетиной – «Русский», 1868, № 15). Только поездка в Премухино принесла ему облегчение.

**42.**

Последняя (третья) строфа стихотворения Ф. И. Тютчева «Как над горячею золой...» (1830).

**43.**

Это сознание «своевременности» смерти Белинского, сознание того, что на его долю выпали бы еще горшие страдания, было, очевидно, распространено среди друзей критика. «Сердце беднеет, верования и надежды уходят, – писал Грановский Фролову в августе 1848 г. – Подчас глубоко завидую Белинскому, вовремя ушедшему отсюда» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. 2. М., 1897, с. 425). Через год, в июне 1849 г., после ареста петрашевцев, Грановский писал Герцену, подразумевая неизбежность самых тяжелых репрессий до отношению к Белинскому, если бы он был жив: «...в Петербурге открыты три тайные общества разом, и в них много офицеров, вышедших из кадетских корпусов... О литературе и говорить нечего. Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя» («Звенья», № 6. М. – Л., 1936, с. 360). См. также приписку Н. Н. Тютчева в прим. 53 к с. 513.

**44.**

См. прим. 24 к с. 180.

**45.**

Строка из стихотворения Байрона «Стансы».

**46.**

Из «Гамлета» Шекспира (действ. III, сц. I – монолог Гамлета «Быть или не быть...»).

**47.**

Далее Тургенев с некоторыми неточностями цитирует письмо А. П. Тютчевой, опуская начало и конец его, а также приписку Н. Н. Тютчева к словам «чтоб его опровергли»: «До сознательного убеждения неизбежной близости смерти он не дошел, а умер почти как Кульчицкий, только что страдание его было продолжительнее и живее. Впрочем, он умер вовремя» (ЛН, 56, 196).

**48.**

О своем посещении Белинского Грановский сообщал жене 25 мая 1848 г. («Т. Н. Грановский и его переписка», т. 2. М., 1897, с. 273).

**49.**

О последних словах Белинского стало известно его друзьям. Смерть каторжанина Крота в поэме Некрасова «Несчастные» (1856) – это смерть Белинского, обратившегося в последние минуты с «речью к народу»:

## 50.

Публикацией выдержек из писем Белинского Тургенев начал обсуждение вопроса о положении критика в «Современнике». Эти выдержки должны были подтвердить тезис Тургенева, поддержанный впоследствии Кавелиным (см. с. 178–179) и Анненковым (см. с. 435), будто «Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала» его руководителями – Некрасовым и Панаевым. Тургенев имел в виду их отказ предоставить Белинскому третью долю в доходах журнала, чем и было вызвано первое из опубликованных Тургеневым писем с упреками по адресу Некрасова. Однако вскоре, объяснившись с Некрасовым и согласившись с его доводами, Белинский снял свои обвинения. «Я имею убеждение и некоторые доказательства, – разъяснял позднее, в 1869 г., в письме к М. Е. Салтыкову сложившуюся ситуацию Некрасов, – что Белинский сам очень скоро увидел, что его положение как дольщика (при необходимости брать немедленно довольно большую сумму на прожиток и неимении гарантии за свою долю в случае неудачи дела) было бы фальшиво. Это он мне сам высказал» (Некрасов, XI, 136). Белинский сумел понять всю трудность положения Некрасова. В опущенной Тургеневым части второго из опубликованных писем критик, защищая Некрасова, говорит о его «апатии», которая, несомненно, была

вызвана рядом сложных обстоятельств, сопровождавших «рождение» «Современника». «Он <Некрасов>, – писал Белинский, – смотрит мне в глаза так прямо и чисто, что, право, все сомнения падают сами собою» (Белинский, XII, 344). О своих отношениях с Некрасовым Белинский подробно информировал Кавелина (Белинский, XII, 458).

**51.**

Сын Белинского Владимир умер в конце марта 1847 г., в возрасте четырех месяцев.

**52.**

См. прим. 105 к с. 436.

**53.**

Из «Гамлета» Шекспира (действ. I, сц. 2, слова Гамлета об отце).